

Дмитрий Мамин-Сибиряк

В горах. Очерк из уральской жизни



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
В горах. Очерк из
уральской жизни

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=328862

Содержание

I	4
II	10
III	22
IV	32
V	37
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович В горах. Очерк из уральской жизни

I

...Мне пришлось сделать еще шагов двести, как до моего слуха явственно донеслись сдержанное, глухое ворчание и отрывистый, нерешительный лай; еще сто шагов – и лес точно расступился передо мною, открывая узкий и глубокий лог. На правой стороне его виднелся яркий огонь, который освещал небольшой палаустный¹ балаган, приткнувшийся к самой опушке леса; группа каких-то людей смотрела в мою сторону. Из высокой травы показалась острая морда лохматой собачонки; она лаяла на меня с тем особенным собачьим азартом, который проявляется у собак только в лесу. Не было сомнения, что я попал на стоянку каких-нибудь «старателей»,² заведенных в эту глушь жаждой легкой наживы и сле-

¹ «Палаустными» на Урале называют такие балаганы, которые строятся наподобие детских домиков из двух карт. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² Старателями в средней части Уральских гор называют тех приисковых рабо-

пой верой в какое-то никому не известное счастье.

— Кто там, крещеный? — сердито окликнул меня мужской голос, когда между мной и балаганом оставалось всего шагов тридцать.

— Охотник... Сбился с дороги. Пустите переночевать, — отозвался я, защищаясь от нападавшей на меня собаки прикладом ружья.

— Какая ночью охота... — проворчал тот же мужской голос. — Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата...

Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:

— Штой-то, Савва Евстигнеич, пристал ты... Разе не видишь — человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим... Садись к огню-то, так гость будешь!

Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищулив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта, не переставая рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к

чих, которые отыскивают золото или платину «от себя» и потом сдают ее арендатору прииска. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно было рассмотреть, — оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.

— Здравствуйте! — проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. — Пустите переночевать, — сбился с дороги...

— Мир, дорогой! — певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глухо ворчавшую на меня собаку. — Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит... Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь...

Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстенького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле прямо животом; подперши коротенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой черноватою бородкой.

— Да это ты, Калин Калиныч? — нерешительно проговорил я наконец.

— А то как же-с?.. Я-с самый и есть, — растерянно и вместе радостно забормотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими маленькими, пухлыми ручками. — Да, я самый и есть-с...

— Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?

— Я-с? Я-с... я-с... вот с Василисой Мироновной, — за-

бормотал Калин Калиныч, почтительно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. – А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом... Очень пространственно!

Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустился опять на землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»

– Я вам не помешаю? – спросил я, обращаясь ко всем.

– Известно, не помешаешь... Куда тебя деть-то, на ночь глядя, – отвечала Василиса Мироновна, не двигаясь с места. – Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу... Место здесь не такое. А ты чьих будешь?

Я назвал свою фамилию. Раскольница, Василиса Мироновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:

– Знаю, знаю! Слыхала... А в лесу-то как заплутался?

Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.

– Одначе здоровый крюк сделал! – проговорила Василиса Мироновна, обращаясь к старику.

– Ему бы надо было обогнуть Черный Лог, а потом Писа-

ный Камень... Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, – отвечал старик.

– А отсюда до Момынихи сколько верст будет? – спросил я старика.

– Да как тебе сказать, чтобы не соврать... Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.

– А как этот лог называется, где вы стараетесь?

– Да кто его знает, как он называется... – с видимой неохотой отвечал старик. – По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его...

– А ты, поди, есть хочешь, сердешный? – ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. – На-ка, вот, закуси, а то натошак спать плохо будешь... Не взыщи на угощеньи, – наше дело тоже странное:³ что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.

– Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! – умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.

Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне Василисой Мироновной, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принялся бла-

³ Странное – странническое. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

годарить за этот ужин, раскольника опустила глаза и скромно сказала:

– Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, – не взыщи с нас. – Помолчав немного, она прибавила: – Ты, по-ди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой... Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, – ну, да сегодня с нами уснет у огонька, а твое дело непривычное...

Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил меня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, – я согласился.

II

Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, настланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном месте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего неба с плывшей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился

смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.

В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нарушать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал по-прежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько полен сразу, целый сноп искр взлетал кверху и обсыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и улыбался. Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел. Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одетая Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с

желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по спине. Наружность Калина Калиныча была совершенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого – ноги, у третьего – туловище. Только голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калин Калиныч на своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутренним светом.

– Говорят, к нам на Старый завод нового станового пришлют, – говорил старик, глядя на огонь.

– Врут! – резко ответила Василиса Мироновна. – Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станового, и все зря болтает народ. Да хоть и нового при-

шлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да придет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти... А старый уж насосался, – ему и шевелиться-то теперь лень...

– А больно он смешон попервоначалу-то был, – улыбаясь, говорил старик.

– Кто это?

– Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили... Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, – ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станового. Приехал... Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась – и шабаш: «Знать не знаю, ведать не ведаю», – а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам – казаки, сотские, все, как следует. Привели Анисью... «Ну, ангел мой, – говорит Пальцев, – говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», – это он казакам своим, – ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и высыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, – говорит Пальцев, а сам смеется, – тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, – ну, те и посеребрили, всю спину спустили нагайками. Все рассказа-

ла баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит... А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить...»

– Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, – говорила Василиса Мироновна.

– Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой – так посеребрит, что небо с овчинку покажется... Раз на раз не приходит... Зимой как-то я его вез на Старый завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел, так уважаю я тебя, а ехали мы на тройке, которую завсегда под станového ставил, – звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает... Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся – Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке тряхнуло да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем на завод, так посеребрит...» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сижу ни жив ни мертв. «Погоди, – говорит Пальцев, – мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, – знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сажу этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хочешь».

Все немного помолчали. Старик подбросил в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:

– Тут, в позапрошлом году, возил я в Махнево мирового... Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит...

– Это Федя-то Заверткин?

– Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, – пришлось мне ехать самому. Подаю лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на доньшке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довести, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись... «Стой! – кричит. – Где едем?» – «Так и так, ваше благородие...» – «Ах ты, говорит, такой-сякой, да разе я, говорит, туда тебе велел ехать?» – «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие...» – «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» – а сам как запалит меня в загривок. У меня так и заскребло на сердце, – обидел он меня, – так бы вот его взял да перекусил пополам... А он догадался, вынял леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только пошевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие, меня обидели?» – «Поворачивай назад в Махнево!» – кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то,

думаю, пристрелит с пьяных-то глаз, Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке – так, совсем бросовая бабенка, – посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатили... А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили – страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой – да плясать, да вприсядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь... Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую... И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого завода и пролежала... Ведь он у меня в те поры порешил тройку-то, – прибавил рассказчик.

– Как порешил?

– Загнал всех лошадей начисто.

– Заплатил?

– Какое заплатил! Я же две недели отсидел в темной... И с ямщины согнал.

– Этакой пес! – ворчала Василиса Мироновна. – Хуже станového будет...

– В тыщу раз хуже: становой што? Становой – человек все-таки с рассуждением, а это просто разбойник, – того гляди, убьет... Становой обнаковенно возьмет свое и острастку задаст, а таких безобразиев я не видывал.

– Оно точно, что Федор Иваныч большие безобразники, – вставил свое слово Калин Калиныч, хранивший все время

молчание. – Как-то намерднись у старшины в гостях были, так они чуть мне вилкой глаз не выткнули... Ей-богу-с! И беспрерменно бы выткнули, если б я не исполнил все по-ихнему: налили мне полрюмки водки, наклали туда горчицы, перцу, карасину налили, – ведь выпил-с!

– Кто выпил?

– Да я выпил-с, – с невозмутимой улыбкой отвечал Калин Калиныч. – И после этого ничего худого со мной не было, только очинно вспотел-с... Так уж господь-батюшка пронес меня за родительские молитвы...

– Ишь ведь, гнус какой завелся! – сердито ворчала Василиса Мироновна.

– А вы это напрасно, Василиса Мироновна, – вступился Калин Калиныч. – Ей-богу-с, напрасно... Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая... Ей-богу, так-с!..

– Ах, Калин, Калин, – качая головой, строго говорила раскольница, – дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума... Разе есть душа у пса?

– А вот и скажу, и всегда скажу! – с азартом протестовал Калин Калиныч. – Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота толкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил... И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч – другое: он – от души,

для смеху. Они и стул выдернут, и карасином напоят, и под-
коленника дадут, а я не обижаюсь... Ей-богу, не обижаюсь!
Мне что? Лишь бы я кого не обидел, а там – бог с ними.

Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое
строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:

– Ну, а дочь у тебя где, Калин?

– Дочь?... Дочь на месте... Учительшей служит, – не без
робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно
для всех прибавил: – А ведь я ее проклял-с... Ей-богу, про-
клял-с! Да ведь еще как: в самый прощенный день на мас-
леной проклял-с... Стал пред образом и говорю: «Будь ты,
Евмения, от меня проклята... Я тебе больше не отец, ты мне
– не дочь!»

Василиса Мироновна только покачала головой, и старик
тяжело вздохнул.

– А ведь она меня обидела как, – продолжал Калин Ка-
линыч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. –
Сели мы в прощенный день обедать, она и давай меня дони-
мать... «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-
богу-с!.. «Какой в тебе, говорит, толк? Вон, говорит, у нас
корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, – про себя
говорит, – жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все
равно, как сальный огарок: бросить жаль, а зажечь нечего».
Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно
это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне
прямо в глаза такие слова выговаривает... Слезы у меня на

глазах, а она надо мной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла... Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, – это она меня и себя уродами-то крестит, – а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас – и рост и детки, – от бога, мол, все это, а на бога приходить⁴ грешно!» Она посмотрела этак на меня да как захохочет... Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, – во всей нашей прероде не было таких карахтеров.

– Нехорошо это, больно нехорошо, – говорила Василиса Мироновна, строго глядя на Калина Калиныча.

– И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое... Не могу удержаться, – точно там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже совестно бывает после.

– А с дочерью-то помирился? – спрашивала раскольница.

– Помирился и проклетие снял-с... У Венушки сердце тоже доброе, – она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней – и в прероде нашей никого не было таких!..

Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.

Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая

⁴ Роптать. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мироновна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, когда дрова падали в костер.

– А что Аристарх Прохорыч? – спрашивала раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.

Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:

– У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалеют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу... Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..

– И ты в свидетелях?

– И меня запутали, грех их бей!..

– Чего же ты показывать будешь?

– А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намеренсь приезжал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.

– А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?

– Нет-с... Только этого не может быть, потому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.

Калин Калиныч, видимо, смутился, но потом успокоился, и прибавил:

– Это все их адвокат мутит...

– Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.

– А кто же, по-вашему, виноват?

– А по-моему – оба виноваты... Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди... Понял?

III

Я с любопытством прислушивался к этим отрывочным разговорам, которые вертелись все на знакомых лицах: и становой Пальцев, и мировой судья Федя Заверткин, и Аристарх Прохорыч Гвоздев, бывший сначала сидельцем в «заведении», то есть в кабаке, потом сделавшийся купеческим приказчиком, затем золотопромышленником и, наконец, винным заводчиком, — все это давно знакомые лица, хорошо известные на Урале, по крайней мере в округе Старого завода. Рассказы о подвигах этих героев могли бы составить целую Одиссею, но меня лично интересовали не эти рассказы, а Василиса Мироновна и Калин Калиныч сами по себе, потому что трудно было бы подыскать других двух людей, более противоположных и по наружности, и по характеру, и по уму. Первую я хорошо знал по слухам, а со вторым познакомился совершенно случайно в доме того самого Аристарха Прохорыча, который чуть не утопил Калина Калиныча. Гвоздев любил задавать семейные вечера и маленькие закуски, которые обыкновенно заканчивались трехдневным пьянством и теми безобразиями, на какие только способен загулявший российский тысячник. Случайно мне пришлось быть свидетелем одной такой закуски, на которой собрались по какому-то делу в доме Гвоздева человек пять — шесть. «Дела» в Старом заводе без водки не делаются, а где

водка, там, конечно, присутствуют и Пальцев, и Заверткин, и остальная братия, одержимая бесом вечной жажды. Калин Калиныч тоже был в числе гостей, и его присутствие послужило неистощимым источником самых остроумных шуток и забавных сцен. Сначала его поили всякой дрянью. Старик пробовал отказываться, но это было совершенно напрасно, – приходилось покоряться своей участи, то есть пить, потеть, утираться неизменным бумажным платком и улыбаться. Когда половина гостей уехала, а другая изъявила неперемное желание провести ночь в доме радушного хозяина, Калин Калиныч долго стоял с картузом в руке, не решаясь уйти.

– Да ты-то чего мнешься? Оставайся! – говорил Аристарх Прохорыч, отнимая картуз у Калина Калиныча.

– Я-с... я-с с моим удовольствием, – лепетал старик, – только мне нужно домой-с... Дело есть, как же-с!

– Э, пустяки... Какие ночью дела?! Ты вот оставайся лучше. Куда собрался? Домой? А дома чего не видал? Ведь жена знает, где ты...

– Это точно-с, только-с оно неловко-с.

– Чего же тут неловко? Кажется, люди все порядочные, компания приличная, а ты брезгуешь.

– Нет-с, зачем же-с... Я только насчет того, что я человек все-таки семейный-с...

– Да что с ним говорить попусту, – вступился Заверткин. – Ты, Калин, говори уж прямо, что твоя Матрена Савишна в подполье тебя посадит, если опоздаешь.

Все засмеялись. Смеялся Пальцев, смеялся земский доктор, смеялся директор старозаводского технического училища, смеялись два управителя. Этот смех задел Калина Калиныча за живое, и он остался.

— А что же-с, я и останусь, — говорил он, потирая маленькие ручки. — Матрена Савишна, оно точно, будут сердиться, а я скажу: в гостях воля хозяйская... Хе-хе-хе!..

— Молодец, Калин Калиныч! — орали пьяные голоса. — Bravo, Калин Калиныч! Будь же мужчиной, голубчик, а то ты совсем обабился.

Через час вся компания расположилась спать в той же комнате, где происходила «закуска». Калину Калинычу было отведено место где-то под столом; он уже разделся и готовился снимать сапоги.

— А ведь, Калин Калиныч, если рассудить это дело, так ты не совсем хорошо это делаешь, что остаешься спать здесь, — заговорил Пальцев. — Ты, ангел мой, не холостой человек, а оставляешь дома жену одну. Она, ангел мой, будет о тебе думать, что ты бог знает куда забрался. Нехорошо, ангел мой!

Это было сигналом, и все разом начали уговаривать Калина Калиныча идти домой. Старик сначала недоверчиво смотрит на всех, но потом начинает быстро одеваться. Когда совсем одетый Калин Калиныч хочет прощаться, Гвоздев загроживает ему дорогу и говорит:

— Ну вот, какой ты бесхарактерный человек!.. Тебе сказали, что нехорошо в чужих людях спать, ты и поверил. Да ведь

ты сказал, — значит, нужно оставаться. Вот у Федора Ивановича тоже есть жена, и у других, да ведь не бегут от хорошей компании. Ты просто срамишь меня.

Эта забавная сцена, в которой Калин Калиныч то начинал прощаться со всеми, чтобы идти домой, то снова раздевался и ложился на свое место, продолжалась слишком долго и, наконец, надоела всем, так что старика на время оставили в покое.

— А ведь ты, Калин Калиныч, боишься своей Матрены Савишны? — спрашивал кто-то в темноте, когда уж все готовились заснуть.

Старик крепился и ничего не отвечал; но это не удовлетворяло гостей, которым хотелось еще потешиться над старым чудаком.

— А ведь признайся, ангел мой, она иногда лупцует тебя? — слышался голос Пальцева, вызвавший сдержанный смех публики. — Ведь ты, ангел мой, говорят, сильно боишься ее? Конечно, ангел мой, я этому не верю, но все-таки...

— Что же мне их бояться? — отозвался, наконец, старик, терпение которого прорвало. — Они не медведь...

— Э, да что тут пустяки говорить! — слышался голос Феи Заверткиной, временно потерявшего сознание и теперь снова получившего способность выражаться членораздельными звуками. — Не-ет, бр-рат, нет!.. Ты нам р-расскажи, как жена тебя в подполье столкнула...

— Калин Калиныч, голубчик, расскажи! — слышались

умоляющие голоса. Кто-то черкнул спичкой о стену, и за-
жгли свечу.

– Что же-с, дело самое обнакновенное-с, – заговорил Ка-
лин Калиныч, усаживаясь на своем месте по-детски, скре-
стив под себя свои коротенькие ножки. – Вечером поужина-
ли-с, как следывает-с, легли почивать-с и всякое прочее...
Хе-хе-хе!

– Браво!.. Молодец, Калин Калиныч! – орала вся компа-
ния.

– Ну-с, лежим это мы на постели и начали промежду со-
бой разговаривать-с, а Матрена Савишна возьми и рассер-
дись... У них уж такой карахтер: как зачнут со мной разго-
варивать, так и сердятся-с... Я и говорю им: «Перестаньте,
говорю, Матрена Савишна, гневаться, потому, говорю, пер-
вое дело, это грешно-с, а второе, говорю, я вам муж, гово-
рю...» Так прямо и отрезал-с, ей-богу-с! Как ножом отрезал
да еще прибавил: «Надо, мол, это самое дело оставить...»
Только это слово я вымолвил им, они, можно сказать, из се-
бя вышли и вступили в большой азарт... Да я рассказывал
вам, господа, – взмолился было Калин Калиныч.

Но публика не хотела и слышать об отказе и, как говорит-
ся, пристала с ножом к горлу.

– Ну, вот-с, как Матрена Савишна вышли из себя и нача-
ли кричать, – продолжал старик: – «Так вот, говорит, какие
ты поступки со мной поступаешь!» – да этак меня ногой ма-
ненечко как толканут, – ей-богу, маненечко! – я с постели

и опрокинулся на пол, а голбец был открыт, – я туда... Так вниз головой и сверзился, а все сам виноват – со страху-с!.. А Матрена Савишна – добрейшая женщина, ей-богу-с!

Снова все хохотали, – хохотали нехорошим, пьяным хохотом. Вместе с другими смеялся и Калин Калиныч своим детски добродушным смехом, от которого забавно вздрагивали его полные, румяные щеки и колыхался круглый живот.

– Так ты, ангел мой, прямо в голбец, турманом?.. О-хо-хо! Уморил, ангел мой! – заливался Пальцев, схватившись за бока.

– Она нарочно и голбец отворила, чтобы столкнуть тебя туда, – уверял Заверткин.

– Ну, уж это неправда, Федор Иванович! – вступился Калин Калиныч. – Это вы напраслину говорите-с...

После этого вечера мне несколько раз приходилось сталкиваться с Калином Калинычем, и мы встречались уже как старые знакомые. Добрый старик действительно приглашал меня к себе в гости, извиняясь очень подробно, что он живет в простой избушке. Меня очень интересовал этот странный человек, но побывать у него все как-то не удавалось.

Василису Мироновну я знал только по слухам, но и по этим отрывочным сведениям, какие имелись у меня, я, кажется, сразу узнал бы ее, – настолько ее портрет резко отличался от всех других людей.

По своему общественному положению она была раскольничья начетчица, но это было, так сказать, ее официальное

звание, а в действительности через ее ловкие руки проходило многое множество самых разнообразных дел, которые даже невозможно было отнести к какой-нибудь определенной профессии. Жила она в Старом заводе, на краю селенья, в новеньком деревянном домике с зелеными ставнями. По семейному положению она была Христова невеста, бо-былка. Почему не вышла замуж Василиса Мироновна, это составляло загадку. И по красоте, и по здоровью, и по своему уму, и по характеру она была завидной невестой, и любой заводский парень женился бы на ней, только стоило ей повести бровью; но она осталась старой девой, ревниво сохраняя свою самостоятельность, девичью волю и скрывая от посторонних глаз истинные причины своего девства. Самыми главными достоинствами знаменитой раскольницы были ее характер и язык, — она умела со всеми «ладить» и заговаривала своей ласковой, медовой речью каждого. В ее характере было что-то неотразимо привлекательное, и с ней мирились даже такие люди, которые явно были предубеждены против нее. Василиса Мироновна сумела поставить себя так, что служила соединяющим звеном между раскольниками и православными. Она была везде, все ее знали, и все были рады ее видеть: от раскольника золотопромышленника она шла к православному попу, от попа — к исправнику, от исправника завертывала к матушке дьяконице, от матушки дьяконицы шла к знакомому мужику. И везде у ней было дело, везде ей были рады, и везде она оставалась одной и тою

же Василисой Мироновной – доброй, ласковой, остроумной. В характере этой женщины соединялись энергия и предприимчивость мужчины с любящим сердцем женщины, в чем, вероятно, и заключался главный секрет ее влияния на всех. Что касается рода занятий, то Василиса Мироновна бралась за все, что попадало ей в руки: читала по покойникам, утешала страждущих, навещала больных, вела торговлю хлебом, покупала на ярмарке лошадей, меняла и перепродавала их; но, без сомнения, ее главным делом были нужды и интересы раскольничьей общины, к которой она сама принадлежала. Чуть кто позапутается из раскольников, накроет исправник моленную, поймает австрийского архиерея, – Василиса Мироновна идет к становому, без ропота, покорно выслушивает всю ругань и распеканья, угрозы и топанье ногами; а кончится дело тем, что тот же становой потреплет Василису Мироновну по плечу и проговорит: «Ну, смотри, ангел мой, чтоб это было в последний раз... Слышишь? Только для тебя это делаю... Понимаешь, ангел мой? Потому, тебе бы не по покойникам читать, а министром быть!» Низко поклонится Василиса Мироновна и смиренно отправится в свою избушку. Поговаривали, что она вела торговлю золотом и исправляла должность раскольничьего попа, но это еще требовало подтверждения.

На рассвете Куфта что-то заворчала, – вероятно, на подошедшую очень близко к балагану лошадь. Я проснулся. Небо было совсем серое; звезды едва теплились; все кругом точ-

но оцепенело и замерло в ожидании солнечного восхода. Холодный воздух заставлял вздрагивать, и я напрасно закрывался халатом, которым прикрыл меня, вероятно, Калин Калиныч. Огонь перед балаганом едва тлелся. Калин Калиныч спал около него мертвым сном, свернувшись клубочком; Василиса Мироновна лежала тоже около огонька; один старик сидел и что-то тихо рассказывал своей слушательнице. Я насторожил уши.

– У меня есть кошка, трехшерстная, ребятишки откедова-то добыли, – тихо рассказывал старик. – Вот она и окотись... Я велел было утопить котят-то, да ребята больно заревели, я их и оставил. Пусть поживут, думаю, а там раздадим по соседям, – больно уж любопытные котятки-то, все в мать... Только это я на той неделе лежу у себя в избе, сплю, значит, на полу, да спросонков-то и раскинул руками, да так инда подскочил с войлока: думал, меня домовой за руку-то схватил али змея в избу заползла... А это кошка своих котятков ко мне на постелю стаскала, я это их руками-то и задел. Я взял их да под печку и снес, а сам лег опять спать. Только мне чего-то не спалось в ту ночь, а уж дело к утру, – заря занимается. Вот лежу это я и вижу: кошка крадется, крадется ко мне, а чуть я глаз открою, она и остановится и глаза зажмурит. Думаю, мышь видит, – дай посмотрю, как ловить станет. Притворился, что будто сплю, а сам на нее смотрю, что, значит, будет она делать. И дошла же эта тварь, кошка, только вот не говорит! Увидала, что я сплю, живо под печку,

котенка в зубы – и ко мне его на войлок, а сама под лавку, как молынья, и глядит оттедова, не проснись ли я. А я лежу – будто сплю. Так она мне всех котят и перетаскала, потому под печкой-то им жестко спать, а на войлоке мягко... То ли не дошлый зверь!.. И так мне в те поры жаль стало котятков, точно вот малых детей... Пошел в сенки, принес им шубу, устроил гнездо, а наутро велел ребятишкам кудели им натаскать под печку-то.

Василиса Мироновна выслушала этот рассказ, не проронив ни одного слова, а потом, зевнув и перекрестив рот, проговорила:

– Что-то ноне, говорят, больно шалят на Старом заводе...

– А вот дошалят! – коротко отвечал старик.

– Ты смотри, Савва, поберегай лошадь-то, – неровен час...

– Куда им, – руки короткие! – самоуверенно отвечал старик, задумчиво глядя на огонь.

IV

Когда я проснулся, солнце уже было очень высоко, и его лучи начинали заглядывать в мой балаган, в котором теперь, кроме меня, никого не было. Я долго наслаждался моим одиночеством, лежа с закрытыми глазами и припоминая все виденное и слышанное мной вчера вечером и ночью. Со стороны леса доносился глухой шум и голоса каких-то птиц. Время от времени по густой траве, которая зеленым ковром покрывала весь лог, волной пробегала лепечущая струя легкого ветерка; она доносила до меня человеческие голоса и какие-то неопределенные звуки, происходившие, как я догадывался, от ударов лопаты по камням. Раннее утро, лучшее время для охоты, я проспал самым бессовестным образом, и мне теперь ничего более не оставалось, как только брести на Момыниху; но мне хотелось остаться пока здесь, среди этой оригинальной группы старателей, – хотелось познакомиться на месте с знаменитыми хищниками, добывавшими золото самым первобытным способом, как добывали его, может быть, еще аргонавты, ездившие на край света за золотым руном. Старатели – своего рода кроты; они портят, по словам ученых инженеров, лучшие места своею хищнической выработкой золотоносных песков. Дело в том, что старатель обыкновенно работает в одиночку, много втроем или вчетвером, очень редко целю семьей; все золото или пла-

тину, которую он намост в течение недели, он обязан сдать на ближайший прииск, где помещается контора арендатора, взявшего на откуп известную местность. Старатели обыкновенно люди очень бедные и поэтому не могут делать серьезных разведок и, кроме того, вырабатывают только лучшие места и то кое-как; такую работой они загораживают дорогу серьезным разведкам специалистов и систематической разработке больших компаний. Старатели иногда разом открывают несколько отличных россыпей, но, не имея собственных средств для их разработки, скрывают их от разведочных компаний с замечательной ловкостью, распускают ложные слухи и не чуждаются даже подкупов; разведки производятся при помощи этих же старателей. Вред старательских работ, о котором громко прокричали горные инженеры и о котором мы сейчас только говорили, вещь еще очень сомнительная и требует серьезного исследования. Между старателями и крупными золотопромышленниками происходит такая же борьба, как между кустарями и крупными фабрикантами, с тою лишь разницей, что и самые крупные золотопромышленники находятся в полной зависимости от старателей.

Выйдя из балагана, я принужден был на время совсем закрыть глаза, — так ослепительно светило солнце, стоявшее над головой. Саженьях в двухстах от меня, на берегу маленькой речки, терявшейся в зелени осоки, лопушника и кустов ивняка, мои вчерашние знакомые били шурф. Куфта лежала на небольшом бугорке и подозрительно следила за мной.

Ей очень хотелось броситься ко мне с оглушительным лаем и даже, может быть, вцепиться своими белыми зубами, но, посмотрев вопросительно на хозяина, она оставила свое намерение и с легким ворчаньем улеглась на прежнее место, продолжая наблюдать за мной на всякий случай. Эта картина глубокого лога, с группой хищников-старателей в центре, точно была вставлена в темно-зеленую раму густого сибирского леса, из-за зубчатой линии которого на севере подымались волнистые силуэты Уральских гор, подернутых синеватою дымкой. Я долго любовался этой чудной картиной далекого севера, так и просившейся на полотно, и затем отправился к старателям.

Василиса Мироновна стояла по грудь в какой-то яме, имевшей форму могилы, откуда и выкидывала железною лопатой песок серого цвета. Кудрявый, русоволосый мальчик отгребал песок от краев ямы и накладывал его в тачку. Калинин тоже не оставался без дела; пот с него катился градом, лицо было красное, как только что отчеканенный пятак. Но толку от его работы было, вероятно, очень мало, и он только мешал другим работать. Смешно было видеть, как эта хлопотливая фигурка то тащила какую-то доску, то заглядывала в яму, то петушком забегала вперед старика, катившего тачку с песком, и все это делалось от чистого сердца, с искренним желанием помочь, принять участие в работе других.

– Бог на помощь! – поздоровался я.

– Спасибо на добром слове, – отозвался старик; он с легким напряжением катил свою тачку по узкой дощечке и с особенною ловкостью вываливал из нее песок, точно вся эта работа была для него игрушкой.

– Ты, барин, поздно же помогать нам пришел, – заговорила своим певучим голосом Василиса Мироновна. – Только ты в нашу работу не годишься, – работа тяжелая, а ножки у тебя тоненькие: того гляди, надломятся. Помоги лучше вон Калинычу, – он, сердешный, совсем замаялся, с самого утра мешает нам работать...

– Уж можно сказать-с, – вступился Калин Калиныч, отирая пот с лица, – уж точно-с, ежели Василиса Мироновна что скажут-с... Хе-хе-хе... – и Калин Калиныч только развел ручками, с умилением посмотрел на всех и неожиданно добавил: – Оченно жарко-с!..

– А ты бы, Калиныч, угостил барина-то, чем бог послал, – заговорил старик, делая мне смотр своим единственным оком. – Отпустил бы я Гришутку, да работой тороплюсь, – надо пробу сделать...

– Хорошо, я это все мигом оборудую-с...

Гришутка, мальчик лет тринадцати, был отлично сложенный ребенок: ширина плеч и высокая грудь, так и вылезавшая из-под ситцевой рубашки, красноречиво говорили о завидном здоровье; но смуглое лицо с серыми глазами было серьезно, даже строго не по летам. Он продолжал свою работу с сосредоточенным видом, как большой, точно не заме-

чая, что говорили о нем.

V

Немного постояв, мы с Калином Калинычем направились к балагану. В моем ягдташе лежал рябчик. Старик, усевшись на корточки, не без искусства принялся жарить его прямо в золе, не ощипав перьев и не выпотрошив. Эта операция требовала известной ловкости, потому что рябчик, завернутый в широкие листья какой-то травы и зарытый в золу, все-таки мог сгореть самым незаметным образом.

– Ты когда, Калин Калиныч, научился рябчиков-то жарить? – невольно спросил я.

– Я-с?... А Савва Евстигнееич научили-с, то есть собственно у Гришутки-с... Очень смысленный мальчик!..

– А кто этот Савва Евстигнееич? Я что-то не припомню.

– Савва Евстигнееич?... Они-с, допреж этого, больше извозом занимались, а теперь вот лет с десять так живут, отдыхают, а вот теперь надумали искать платину... Такой уж беспокойный старик и есть!

– Савва Евстигнееич из Старого завода?

– Точно так-с, все старозаводские-с.

– А Василиса Мироновна зачем здесь?

– Так-с, у них дела-с... Можно сказать – удивительная женщина! – с одушевлением заговорил старик и, разведя ручками, прибавил: – Душа у них – золотая душа-с!

Я видел, что Калину Калинычу строго-настрого заказано

было развязывать язык, поэтому и не стал продолжать дальнейших расспросов. Рябчик тем временем поспел, и мы его разделили по-братски, а затем, запив его кваском, растянулись в тени балагана, отдавшись каждый своим думам. О чем думал Калин Калиныч, трудно было догадаться, тем более что на его говорливые уста наложена была печать молчания самой Василисой Мироновной, каждое слово которой было для него законом. Я старался ни о чем не думать и просто любоваться синевою неба, зеленью леса, блеском солнца, отдыхая душой среди этого простора живой чудной природы севера. Но такое желание оказалось решительно неосуществимым. И пыхтевший рядом Калин Калиныч, видимо, угнетаемый обетом молчания и сгоравший от желания поговорить со мной по душе, как со старым знакомым, и мелькавшая невдалеке группа старателей – все нагоняло вереницу мыслей. Среди самой глуши леса неожиданно натолкнулся я на самую странную комбинацию человеческих существ, тайну которой чем дальше, тем сильнее хотелось разгадать, и вместе с тем не хотелось вмешиваться в жизнь этой кучки людей, нарушать их покой. Одно только было для меня ясно, как день, именно, что не простая случайность соединила этих людей между собою, что какая-то тайная причина связывала их и не имела ничего общего с их старательством. В самом деле, какие интересы могли соединить эту энергическую женщину, раскольничьего попа, с простяком, светлую душой, Калином Калинычем, и, далее, какая связь мог-

ла быть между ними и Саввой Евстигнейчем, этим загадочным стариком-старателем? Наконец, зачем у этого мальчугана Гришутки такое преждевременно серьезное лицо? Пока я напрасно ломал голову над этими вопросами, солнце поднималось все выше и выше, и, наконец, его лучи добрались и до нас с Калином Калинычем. Я старался выдержать характер и терпеливо жарился на солнечном припеке. А Калин Калиныч даже наслаждался солнечною теплотой, которую с таким обилием посылало ему само небо.

— Этакая благодать-с, — заговорил он, наконец, поворачивая другой бок на солнце. — Ей-богу-с, истинная благодать-с! Эко, подумаешь, у господа простору-то, воли-то, а нам все мало, все грешим, все недовольны... Эх, грехи, грехи!.. Вон пташка поет, козявка всякая стрекочет, а солнышко!.. Больно уж я люблю его. Господи, помилуй! Господи, помилуй! И в писании говорится: «Воззрите на птицы небесные: не сеют, не жнут, а отец ваш небесный питает их. Воззрите на полевою лилию: и Соломон во всей славе своей не одевался лучше ее». Чудны дела твои, господи, вся премудростию сотворил еси!..

Слушая эту странную одушевленную речь, я с невольным удивлением посмотрел на моего собеседника, лицо которого дышало неподдельным, искренним одушевлением. Этот смешной Калин Калиныч теперь был в моих глазах совершенно другим человеком, точно он, в соприкосновении с матерью-природой, переродился и просветлел каким-то внут-

ренным светом.

— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись паузой, — у Гвоздева, кажется, теперь дело с Печенкиным?

— Да-с, дело, и преказусное дело-с. Можно сказать, что отливается медведю коровьи слезы: плохое дело у Аристарха Прохорыча-с! Хотя они мне и много надсмешек сделали-с, а все-таки жаль их. Это дело, видите ли, у них тянулось очень давно, когда Гвоздев был в компании с Печенкиным по приискам. Вы помните исправника Хряпина? Ну, так это было еще при нем-с. Хряпин-с был гроза грозой, особливо кто приисками занимался, потому тогда за краденое золото очень строго судили, не как по нонешнему времени. Только поговаривали-с на Старом заводе, что Аристарх Прохорыч жить пошли от Хряпина-с, потому он видел — не видел ихние дела-с, а они ему платили. Я так полагаю-с, что все это сущий вздор, ей-богу-с! Из зависти люди говорят-с.

Калин Калиныч посмотрел на меня, повернулся животом вниз и, положив голову в свои ладони, как тыкву, продолжал:

— А ведь вы знаете карахтер у Аристарх Прохорыча-с? Бедовый!.. Они, Аристарх-то Прохорыч, зашибли таким манером на приисках деньгу не малую, а Хряпин начал уж над ними дерзкие слова говорить и обещал в остроге сгноить, ежели они ему не будут дань платить. Аристарх Прохорычу это и не поглянись, потому как они в силу вошли и свое понятие о себе стали иметь, то захотели себя держать высоко. Тогда этот акциз вошел в моду, Аристарх Прохорыч от

приисков совсем и отстали, стали водкой заниматься, – это дело в беспремер безопасное и прибыльное, – а о Хряпине не забывали, потому он горько им приходился. Вот они-с, Аристарх Прохорыч, и придумали фортель. Ей-богу-с! Евдоким-то Игнатийч, Печенкин то есть, уж старички-с, а карахтер у них нестерпимый, огненный карахтер, можно сказать-с. Вот они где-то и соберись на именинах: Хряпин, Печенкин и Аристарх Прохорыч. То-се, пятое-десятое, выпили и закусили. Печенкину в голову попало, а Хряпин и захоти покуражиться над ними. «Что, говорит, подлецы...» Это он Аристарху-то Прохорычу с Печенкиным. «Вам, говорит, надо свечи передо мной ставить». Аристарху Прохорычу это и не поглянись, они и шепни на ухо Печенкину словечко, а тот подошел да Хряпина в ухо как запалит!.. А Хряпин в это время ели пирог с осетриной да так рот растворили и смотрят, а изо рта вязига, крошки, рыба – все на пол и сыплется. Очень им это обидно показалось, Хряпину-то, потому они исправником тогда состояли и при исправлении их собственной должности им такой позор нанесли. Тут и заварилась каша: Печенкин было и на мировую, а Хряпин и слышать ничего не хочет, потому – при исполнении обязанности. Тогда у нас еще старые суды были, – ну, по старым судам Печенкина на высидку и приговорили на год в темную, а он к Аристарху Прохорычу: «Выручай, ничего не пожалею». А Аристарх Прохорыч им условие: так и так, сменю всю полицию и Хряпина к черту в подкладку, и тебя ослобоню, толь-

ко за мои труды мне подпиши вексель в тридцать тысяч. Печенкин с горя-то возьми и подпишись, а Аристарх Прохорыч в Петербург. И сменили, всех сменили! Я тогда с ними до Москвы ездил. Ну-с, теперь прошло этак лет с пять-шесть, разные дела промежду ними были, только они чего-то повздорили между собой, из-за сущего пустяка-с, а Аристарх Прохорыч и захоти наказать Печенкина да вексель ко взысканию и предъявили. Печенкин, как услышал это, еще больше в азарт вошел да прямо в суд: так и так, векселя не давал Гвоздеву, – вексель подложный. Аристарха Прохорыча и потянули в суд. Теперь дело третий год тянется. И я попал в свидетели-с! Да-с... Самое казусное-с дело-с!..

Помолчав немного, Калин Калиныч поднял на меня глаза и проговорил:

– А ведь Хряпин-то нынче почитай в приказчиках у Печенкина служит-с... Ей-богу-с! А прежде, бывало-с, хуже страшного суда его боялись все. Большую силу имел-с...

Солнце начинало уже палить нещадно; огонь у балагана давно потух, только две упрямые головешки продолжали еще упорно дымиться на остывавшем пепелище. Стреноженная лошадь с трудом подскакала к нам, надеясь найти защиту от облепившего ее овода.

– Ишь, окаянные, съели совсем лошадь! – заговорил Калин Калиныч, поднимаясь с земли, чтобы снова развести огонь.

Он соорудил небольшой костер из старого пня, несколь-

ких полен и дров и дымившихся головень, закрыл его сверху и с боков хворостом и зажег; а чтоб он давал больше дыма, принес целую охапку свежей травы и бросил на огонь сверху. Стоявшая около нас лошадь умными глазами следила все время за этой операцией, усиленно отмахивалась своим хвостом от висевшего над ней столбом овода; когда густой белый дым клубами повалил от костра, умное животное встало в самую струю. Калин Калиныч опять лежал в любимой своей позе, животом на земле, и смотрел на меня своими прищуренными черными глазками.

– А ведь мы скоро собираемся церковь новую святить, – заговорил он, болтая ногами.

– Какую церковь?

– А в память освобождения крестьян-с... Как же-с! Вот теперь пятнадцать лет исполнилось, как хлопчем-с. Очень много было хлопот, а теперь, слава богу, все дело к концу подходит, – кунпол выводить зачали-с...

– На чьи же деньги эта церковь строится?

– Как на чьи-с? – На мирские-с... Тогда, как только ослобонили нас, я прихожу к отцу Нектарию, а он мне и говорит-с: «Так и так, говорит, теперь как выходит всем освобождение-с, так ты, говорит, уж послужи миру-то...» Я поблагодарил их, да с тех пор пятнадцать годов и собирал на построение храма-с!.. Ведь по копеечкам-с собирал, а что этого греха на душу принял, так, кажется, и не замолить по конец жизни... Ей-богу-с! Всякий указывает тебе, всякий усчиты-

вает, всякий ругает: и то не так, и это не так, а отец Нектарий говорит: «Потерпи, потому не для себя стараешься, а для господа бога...» А со стороны сколько напринимался – страсть: и вором-то ругали, и выгоняли с кружкой, только не заушали-с!.. А вот и довели до конца, благодарение создателю, – долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневался на нас, многогрешных.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.